

Александр Степанович Грин

Жизнь Гнора



Александр Грин

Жизнь Гнора

«Public Domain»

1912

Грин А. С.

Жизнь Гнора / А. С. Грин — «Public Domain», 1912

«Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц. Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло; раннее холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные росистые тени пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной и беспокойной...»

Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	16
V	21
VI	25

Александр Грин

Жизнь Гнора

Большие деревья притягивают молнию.
Александр Дюма

I

Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц.

Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло; раннее холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные росистые тени пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной и беспокойной.

«Это приснилось», – подумал молодой человек и лег снова, пытаясь заснуть.

– Голос был похож, очень похож, – пробормотал он, поворачиваясь на другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые воспоминания; в утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов, волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью.

Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о совершеннолетию стоял для него ребром: очень молодым людям, когда они думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия. Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой жил около месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи, вывешенной над конторкой дельца: «Сутки имеют двадцать четыре часа». На языке Гнора это звучало так: «У нее слишком много денег».

Гнор покраснел, перевернул горячую подушку – и сна не стало совсем. Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости; вслед за этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно улыбнулся. Интимные воспоминания для него, как и для всякой простой души, были убедительнее выкладок общественной математики. Медленно шевеля губами, Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером; слова, перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре и пропавшим в тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке, он вспомнил первые осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы. Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон.

– Шесть часов, – сказал Гнор, – а я не хочу спать. Что мне делать?

Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом, беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины, не знает на другой день, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца, кажется ему несносной обузой. Вместе с тем потребность двигаться, жить и начать жить как можно раньше бывает постоянной причиной беспокойного сна счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых цветным шелком лощенных зал; в последней из них стенное зеркало отразило спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым столом; опущенная голова его поднялась при звуке шагов Гнора; последний остановился.

– Как! – сказал он, смеясь. – Вы тоже не спите?! Вы образец регулярной жизни! Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем, что делать, проснувшись так безрассудно рано.

У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам довольствовались одной частью его: Энниок. Он бросил зашумевший лист на пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая улыбка появилась на его бледном лице.

– Я не ложился, – сказал Энниок. – Правда, для этого не было особо уважительных причин. Но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в бумагах, делать заметки. Какое сочное золотистое утро, не правда ли?

– Вы тоже едете?

– Да. Завтра.

Энниок смотрел на Гнора спокойно и ласково; обычно сухое лицо его было теперь привлекательным, почти дружеским. «Как может меняться этот человек, – подумал Гнор, – он – целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он один наполняет этот большой дом».

– Я тоже уеду завтра, – сказал Гнор, – и хочу спросить вас, в каком часу отходит «Епископ Архипелага»?

– Не знаю. – Голос Энниока делался все более певучим и приятным. – Я не завишу от пароходных компаний; ведь у меня, как вы знаете, есть своя яхта. И если вы захотите, – прибавил он, – для вас найдется хорошенькая поместительная каюта.

– Благодарю, – сказал Гнор, – но пароход идет прямым рейсом. Я буду дома через неделю.

– Неделя, две недели – какая разница? – равнодушно возразил Энниок. – Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются жгучие воспоминания. Я знаю земной шар; сделать крюк в тысячу миль ради вас и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья.

Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал с ней, смотрел на нее, втроем они неоднократно совершали прогулки. Для влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но осязательным утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это прекрасное, не написанное еще письмо Гнор желал прочесть как можно скорее.

– Нет, – сказал он, – я благодарю и отказываюсь.

Энниок поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся лицом к террасе. Утренние, ослепительные ее стекла горели зеленью; сырой запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим холодную пышность здания ясной и мягкой.

Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и подробности. Дом этот стал важной частью его души; на всех предметах, казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную силу притяжения; беззвучная речь вещей твердила о днях, прошедших быстро и беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных разговорах, волнующих, как гнев, как радостное потрясение; немых призывах улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Энниока, Гнор молча смотрел в глубь арки, открывающей перспективу дальних, пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал. Прикосновение Энниока вывело его из задумчивости.

– Отчего вы проснулись? – спросил Энниок, зевая. – Я выпил бы кофе, но буфетчик еще спит, также и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?

– Нет, – сказал Гнор, – я стал нервен... Какой-то пустяк, звуки разговора, быть может, на улице...

Энниок взглянул на него из-под руки, которой тер лоб, вдумчиво, но спокойно. Гнор продолжал:

– Пойдемте в бильярдную. Мне и вам совершенно нечего делать.

– Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному мяснику Кнасту.

– Я не играю на деньги, – сказал Гнор и, улыбаясь, прибавил: – У меня их к тому же теперь в обрез.

– Мы договоримся внизу, – сказал Энниок.

Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед за ним. Но, услышав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и ясным лицом; движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность.

– Это не вы, это солнце, – сказал Гнор, взяв маленькую руку, – оттого так светло и чисто. Почему вы не спите?

– Не знаю.

Эта изящная девушка, с доброй складкой бровей и твердым ртом, говорила открытым грудным голосом, немного старившим ее, как бабушкин чепчик, надетый десятилетней девочкой.

– А вы?

– Сегодня никто не спит, – сказал Гнор. – Я люблю вас. Энниок и я – мы не спим. Вы третья.

– Бессонница. – Она стояла боком к Гнору; рука ее, удержанная молодым человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя меж сукном и рубашкой блаженное ощущение мимолетной ласки. – Вы уедете, но возвращайтесь скорее, а до этого пишите мне чаще. Ведь и я люблю вас.

– Есть три мира, – проговорил растроганный Гнор, – мир красивый, прекрасный и прелестный. Красивый мир – это земля, прекрасный – искусство. Прелестный мир – это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен; этого хочет отец; он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно. Я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне; мне все чуждо, я люблю только вас одну.

– И я, – сказала девушка. – Прощайте, мне нужно прилечь, я устала, Гнор, и если вы...

Не договорив, она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в расцвете первой любви; отошла к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блестящему в пыльном свете окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было знакомо Гнору; опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии, веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки; неоконченный такт замер вопрошительным звоном.

– Я доиграю потом, – сказала она.

– Когда?

– Когда ты будешь со мной.

Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери.

Гнор тряхнул головой, мысленно dokonчил мелодию, оборванную Кармен, и ушел к Энниоку. Здесь были сумерки; низкие окна, завешанные плотной материей, почти не давали света; небольшой ореховый бильярд выглядел хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку; электрические тюльпаны безжизненно засияли под потолком; свет этот, мешаясь с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал кий, тщательно намелил его и сунул под мышку, заложив руки в карман.

– Начинайте вы, – сказал Гнор.

– На что мы будем играть? – медленно произнес Энниок, вынимая руку из кармана и вертя шар пальцами. – Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы проиграете, я везу вас на своей яхте.

– Хорошо, – сказал Гнор. Ироническая беспечность счастливого человека овладела им. – Хорошо; яхта так яхта. Во всяком случае, это лестный проигрыш! Что вы ставите против этого?

– Все, что хотите. – Энниок задумался, выгибая кий; дерево треснуло и выпало из рук на паркет. – Как я неосторожен, – сказал Энниок, отбрасывая ногой обломки. – Вот что: если выиграете, я не буду мешать вам жить, признав судьбу.

Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми глазами.

– Я шутник, – сказал он. – Ничего не доставляет мне такого, по существу, безобидного удовольствия, как заставить человека разинуть рот. Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите.

– Хорошо. – Гнор выкатил шар. – Я не разорю вас.

Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол, и уступил место Энниоку.

– Раз, – сказал тот. Шары забегали, бесшумными углами чертя сукно, и остановились в выгодном положении. – Два. – Ударяя кием, он почти не сходил с места. – Три. Четыре. Пять. Шесть.

Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими щелчками и возвращался к Энниоку.

– Четырнадцать, – сказал Энниок; крупные капли пота выступили на его висках; он промахнулся, перевел дух и отошел в сторону.

– Вы сильный противник, – сказал Гнор, – и я буду осторожен.

Играя, ему удалось свести шары рядом; он поглаживал их своим шаром то с одной, то с другой стороны, стараясь не разъединить их и не оставаться с ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки шли поровну; через полчаса на счетчике у Гнора было девяносто пять, девяносто девять у Энниока.

– Пять, – сказал Гнор. – Пять, – повторил он, задев обоих, и удовлетворенно вздохнул. – Мне остается четыре.

Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем: кий скользнул, а шар не докатился.

– Ваше счастье, – сказал Гнор с некоторой досадой, – я проиграл.

Энниок молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся: шары стояли друг против друга у противоположных бортов; третий, которым должен был играть Энниок, остановился посередине бильярда; все три соединялись прямой линией. «Карамболь почти невозможен», – подумал он и стал смотреть.

Энниок согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы под низ шара; шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой, прочь, и, быстро крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катясь все тише, легко, словно вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий.

– Я раньше играл лучше, – сказал он. Руки его тряслись.

Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника.

Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее казалось ему поэтому вдвойне нелепым. «Ты не принесла мне сегодня счастья, – подумал он, – и я не получу скоро твоего письма. Все случайность».

– Все дело случая, – как бы угадывая его мысли, сказал Энниок, продолжая возиться у полотенца. – Может быть, вы зато счастливы в любви. Итак, я вам приготовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен; у нее хорошая техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время.

– Странно? Почему же? – рассеянно сказал Гнор. – Это случайность.

– Да, случайность. – Энниок погасил электричество. – Пойдемте завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.

II

Зеленоватые отсветы волн, бегущих за круглым стеклом иллюминатора, ползли вверх, колебались у потолка и снова, повинувшись размахам судна, бесшумно неслись вниз. Ропот водяных струй, обливающих корпус яхты стремительными прикосновениями; топот ног вверху; заглушенный возглас, долетающий как бы из другого мира; дребезжание дверной ручки; ленивый скрип мачт, гул ветра, плеск паруса; танец всяческого календаря на стене – весь ритм корабельного дня, мгновения тишины, полной сурового напряжения, неверный уют океана, воскрешающий фантазии, подвиги и ужасы, радости и катастрофы морских летописей, – наплыв впечатлений этих держал Гнора минут пять в состоянии торжественного оцепенения; он хотел встать, выйти на палубу, но тотчас забыл об этом, следя игру брызг, стекавших по иллюминатору мутной жижей. Мысли Гнора были, как и всегда, в одной точке отдаленного берега – точке, которая была отныне постоянной их резиденцией.

В этот момент вошел Энниок; он был очень весел; клеенчатая морская фуражка, сдвинутая на затылок, придавала его резкому подвижному лицу оттенок грубоватой беспечности. Он сел на складной стул, Гнор закрыл книгу.

– Гнор, – сказал Энниок, – я вам готовлю редкие впечатления. «Орфей» через несколько минут бросит якорь, мы поедем вдвоем на гичке. То, что вы увидите, восхитительно. Милях в полутора отсюда лежит остров Аш; он невелик, уютен и как бы создан для одиночества. Но таких островов много; нет, я не стал бы отрывать вас от книги ради сентиментальной прогулки. На острове живет человек.

– Хорошо, – сказал Гнор, – человек этот, конечно, Робинзон или внук его. Я готов засвидетельствовать ему свое почтение. Он угостит нас козьим молоком и обществом попугая.

– Вы угадали. – Энниок поправил фуражку, оживление его слиняло, голос стал твердым и тихим. – Он живет здесь недавно, я навещу его сегодня в последний раз. После ухода гички он не увидит более человеческого лица. Мое желание ехать вдвоем с вами оправдывается способностью посторонних глаз из пустяка создавать истории. Для вас это не вполне понятно, но он сам, вероятно, расскажет, вам о себе; история эта для нашего времени звучит эхом забытых легенд, хотя так же жизненна и правдива, как вой голодного или шишка на лбу; она жестока и интересна.

– Он старик, – сказал Гнор, – он, вероятно, не любит жизнь и людей?

– Вы ошибаетесь. – Энниок покачал головой. – Нет, он совсем еще молодое животное. Он среднего роста, сильно похож на вас.

– Мне очень жалко беднягу, – сказал Гнор. – Вы, должно быть, единственный, кто ему не противен.

– Я сам состряпал его. Это мое детище. – Энниок стал тереть руки, держа их перед лицом; дул на пальцы, хотя температура каюты приближалась к точке кипения. – Я, видите ли, прихожусь ему духовным отцом. Все объяснится. – Он встал, подошел к трапу, вернулся и, предупредительно улыбаясь, взял Гнора за пуговицу. – «Орфей» кончит путь через пять, много шесть дней. Довольны ли вы путешествием?

– Да. – Гнор серьезно взглянул на Энниока. – Мне надоели интернациональные плавучие толкучки пароходных рейсов; навсегда, на всю жизнь останутся у меня в памяти смоленая палуба, небо, выбеленное парусами, полными соленого ветра, звездные ночи океана и ваше гостеприимство.

– Я – сдержанный человек, – сказал Энниок, качая головою, как будто ответ Гнора не вполне удовлетворил его, – сдержанный и замкнутый. Сдержанный, замкнутый и мнительный. Все ли было у вас в порядке?

– Совершенно.

– Отношение команды?

– Прекрасное.

– Стол? Освещение? Туалет?

– Это жестоко, Энниок, – возразил, смеясь, Гнор, – жестоко заставляя человека располагать в виде благодарности лишь жалкими человеческими словами. Прекратите попытку. Самый требовательный гость не мог бы лучше меня жить здесь.

– Извините, – настойчиво продолжал Энниок, – я, как уже сказал вам, мнителен. Был ли я по отношению к вам джентльменом?

Гнор хотел отвечать шуткой, но стиснутые зубы Энниока мгновенно изменили спокойное настроение юноши; он молча пожал плечами.

– Вы меня удивляете, – несколько сухо произнес он, – и я вспоминаю, что... да... действительно, я имел раньше случаи не вполне понимать вас.

Энниок занес ногу за трап.

– Нет, это простая мнительность, – сказал он. – Простая мнительность, но я выражаю ее юмористически.

Он исчез в светлом кругу люка, а Гнор, машинально перелистывая страницы книги, продолжал мысленный разговор с этим развязным, решительным, пожившим, заставляющим пристально думать о себе человеком. Их отношения всегда были образцом учтивости, внимания и предупредительности; как будто предназначенные в будущем для неведомого взаимного состязания, они скрещивали еще бессознательно мысли и выражения, оттачивая слова – оружие духа, борясь взглядами и жестами, улыбками и шутками, спорами и молчанием. Выражения их были изысканны, а тон голоса всегда отвечал точному смыслу фраз. В сердцах их не было друг для друга небрежной простоты – спутника взаимной симпатии; Энниок видел Гнора насквозь, Гнор не видел настоящего Энниока; живая форма этого человека, слишком гибкая и податливая, смешивала тона.

Зверский треск якорной цепи перебил мысли Гнора на том месте, где он говорил Энниоку: «Ваше беспокойство напрасно и смахивает на шутку». Солнечный свет, соединявший отверстие люка с тенистой глубиной каюты, дрогнул и скрылся на палубе. «Орфей» повернулся.

Гнор поднялся наверх.

Полдень горел всей силой огненных легких юга; чудесная простота океана, синий блеск его окружал яхту; голые обожженные спины матросов гнулись над опущенными парусами, напоминавшими разбросанное белье гиганта; справа, отрезанная белой нитью приборя, высилась скалистая впадина берега. Два человека возились около деревянного ящика. Один подавал предметы, другой укладывал, по временам выпрямляясь и царапая ногтем листок бумаги; Гнор остановился у шлюп-балки, матросы продолжали работу.

– Карабин в чехле? – сказал человек с бумагой, проводя под строкой черту.

– Есть, – отвечал другой.

– Одеяло?

– Есть.

– Патроны?

– Есть.

– Консервы?

– Есть.

– Белье?

– Есть.

– Свечи?

– Есть.

– Спички?

- Есть.
- Огниво, два кремня?
- Есть.
- Табак?
- Есть.

Матрос, сидевший на ящике, стал забивать гвозди. Гнор повернулся к острову, где жил странный, сказочный человек Энниока; предметы, упакованные в ящик, вероятно, предназначались ему. Он избегал людей, но о нем, видимо, помнили, снабжая необходимым, – дело рук Энниока.

– Поступки красноречивы, – сказал себе Гнор. – Он мягче, чем я думал о нем.

Позади его раздались шаги; Гнор обернулся: Энниок стоял перед ним, одетый для прогулки, в сапогах и фуфайке: у него блестели глаза.

– Не берите ружья, я взял, – сказал он.

– Когда я первый раз в жизни посетил обсерваторию, – сказал Гнор, – мысль, что мне будут видны в черном колодце бездны светлые глыбы миров, что телескоп отдаст меня жуткой бесконечности мирового эфира, – страшно взволновала меня. Я чувствовал себя так, как если бы рисковал жизнью. Похоже на это теперешнее мое состояние. Я боюсь и хочу видеть вашего человека; он должен быть другим, чем мы с вами. Он грандиозен. Он должен производить сильное впечатление.

– Несчастный отвык производить впечатление, – легкомысленно заявил Энниок. – Это бунтующий мертвец. Но я вас покину. Я приду через пять минут.

Он ушел вниз к себе, запер изнутри дверь каюты, сел в кресло, закрыл глаза и не шевелился. В дверь постучали. Энниок встал.

– Я иду, – сказал он, – сейчас иду. – Поясной портрет, висевший над койкой, казалось, держал его в нерешительности. Он посмотрел на него, вызываяще щелкнул пальцами и рассмеялся. – Я все-таки иду, Кармен, – сказал Энниок.

Открыв дверь, он вышел. Темноволосый портрет ответил его цепкому, тяжелому взгляду простой, легкой улыбкой.

III

Береговой ветер, полный душистой лесной сырости, лез в уши и легкие; казалось, что к ногам падают невидимые охапки травы и цветущих ветвей, задевая лицо. Гнор сидел на ящике, выгруженном из лодки, Энниок стоял у воды.

– Я думал, – сказал Гнор, – что отшельник Аша устроит нам маленькую встречу. Быть может, он давно умер?

– Ну, нет. – Энниок взглянул сверху на Гнора и наклонился, подымая небольшой камень. – Смотрите, я сделаю множество рикошетов. – Он размахнулся, камень заскакал по воде и скрылся. – Что? Пять? Нет, я думаю, не менее девяти. Гнор, я хочу быть маленьким, это странное желание у меня бывает изредка; я не поддаюсь ему.

– Не знаю. Я вас не знаю. Может быть, это хорошо.

– Быть может, но не совсем. – Энниок подошел к лодке, вынул из чехла ружье и медленно зарядил его. – Теперь я выстрелю два раза, это сигнал. Он нас услышит и явится.

Подняв дуло вверх, Энниок разрядил оба ствола; гулкий треск повторился дважды и смутным отголоском пропал в лесу. Гнор задумчиво покачал головой.

– Этот салют одиночеству, Энниок, – сказал он, – почему-то меня тревожит. Я хочу вести с жителем Аша длинный разговор. Я не знаю, кто он; вы говорили о нем бегло и сухо, но судьба его, не знаю – почему, трогает и печалит меня; я напряженно жду его появления. Когда он придет... я...

Резкая морщина, признак усиленного внимания, пересекла лоб Энниока. Гнор продолжал:

– Я уговорю его ехать с нами.

Энниок усиленно засмеялся.

– Глупости, – сказал он, кусая усы, – он не поедет.

– Я буду его расспрашивать.

– Он будет молчать.

– Расспрашивать о прошлом. В прошлом есть путеводный свет.

– Его доконало прошлое. А свет – погас.

– Пусть полюбит будущее, неизвестность, заставляющую нас жить.

– Ваш порыв, – сказал Энниок, танцую одной ногой, – ваш порыв разобьется, как ломается кусок мела о голову тупого ученика. Право, – с одушевлением воскликнул он, – стоит ли думать о чуде? Дни его среди людей были бы банальны и нестерпимо скучны, здесь же он не лишен некоторого, правда, весьма тусклого, ореола. Оставим его.

– Хорошо, – упрямо возразил Гнор, – я расскажу ему, как прекрасна жизнь, и, если его рука никогда не протягивалась для дружеского пожатия или любовной ласки, он может повернуться ко мне спиной.

– Этого он ни в коем случае не сделает.

– Его нет, – печально сказал Гнор. – Он умер или охотится в другом конце острова.

Энниок, казалось, не слышал Гнора; медленно подымая руки, чтобы провести ими по бледному своему лицу, он смотрел прямо перед собой взглядом, полным сосредоточенного размышления. Он боролся, это была короткая запоздалая борьба, жалкая схватка. Она обессилила и раздражила его. Минуту спустя он сказал твердо и почти искренно:

– Я богат, но отдал бы все и даже свою жизнь, чтобы только быть на месте этого человека.

– Темно сказано, – улыбнулся Гнор, – темно, как под одеялом. А интересно.

– Я расскажу про себя. – Энниок положил руку на плечо Гнора. – Слушайте. Сегодня мне хочется говорить без умолку. Я обманут. Я перенес великий обман. Это было давно, я плыл с грузом сукна в Батавию, – и нас разнесло в щепки. Дней через десять после такого начала я

лежал поперек наскоро связанного плота, животом вниз. Встать, размяться, предпринять что-нибудь у меня не было ни сил, ни желания. Начался бред; я грезил озерами пресной воды, тряся в лихорадке и для развлечения негромко стонал. Шторм, погубивший судно, перешел в штиль. Зной и океан сварили меня; плот стоял неподвижно, как поплавок в пруде, я голодал, задыхался и ждал смерти. Снова подул ветер. Ночью я проснулся от мук жажды; был мрак и грохот. Голубые молнии полосовали пространство, меня вместе с плотом швыряло то вверх – к тучам, то вниз – в жидкие черные ямы. Я разбил подбородок о край доски; по шее текла кровь. Настало утро. На краю неба, в непрерывно мигающем свете небесных трещин, неудержимо влеклись к далеким облакам пенистые зеленоватые валы; среди них метались черные завитки смерчей, над ними, как стая обезумевших птиц, толпились низкие тучи – все смешалось. Я бредил, бред изменил все. Бесконечные толпы черных женщин с поднятыми к небу руками стремились вверх; кипящая груда их касалась небес, с неба в красных просветах туч падали вниз прозрачным хаосом нагие розовые и белые женщины. Озаренные клубки тел, сплетаясь и разрываясь, кружась вихрем или камнем летя вниз, соединили в непрерывном своем движении небо и океан. Их рассеяла женщина с золотой кожей. Она легла причудливым облаком над далеким туманом. Меня спасли встречные рыбаки, я был почти жив, тряся и говорил глупости. Я выздоровел, а потом сильно скучал, те дни умирания в океане, в бреду, полном нежных огненных призраков, отравили меня. То был прекрасный и страшный сон – великий обман.

Он замолчал, а Гнор задумался над его рассказом.

– Тайфун – жизнь? – спросил Гнор. – Но кто живет так?

– Он. – Энниок кивнул головой в сторону леса и нехорошо засмеялся. – У него есть женщина с золотой кожей. Вы слышите что-нибудь? Нет? И я нет. Хорошо, я стреляю еще.

Он взял ружье, долго вертел в руках, но сунул под мышку.

– Стрелять не стоит. – Энниок вскинул ружье на плечо. – Разрешите мне вас оставить. Я пройду немного вперед и разыщу его. Если хотите, – пойдете вместе. Я не заставлю вас много ходить.

Они тронулись. Энниок впереди, Гнор сзади. Тропинок и следов не было; ноги по колено вязли в синевато-желтой траве, экваториальный лес напоминал гигантские оранжереи, где буря снесла прозрачные крыши, стерла границы усилий природы и человека, развертывая пораженному зрению творчество первобытных форм, столь родственное нашим земным понятиям о чудесном и странном. Лес этот в каждом листе своем дышал силой бессознательной, оригинальной и дерзкой жизни, ярким вызовом и упреком, человек, попавший сюда, чувствовал потребность молчать.

Энниок остановился в центре лужайки. Лесные голубоватые тени бороздили его лицо, меняя выражение глаз.

Гнор ждал.

– Вам незачем идти дальше. – Энниок стоял к Гнору спиной. – Тут неподалеку... он... я не хотел бы сразу и сильно удивить его, являясь вдвоем. Вот сигары.

Гнор кивнул головой. Спина Энниока, согнувшись, нырнула в колючие стебли растений, сплетавших деревья; он зашумел листьями и исчез.

Гнор посмотрел вокруг, лег, положил руки под голову и принялся смотреть вверх.

Синий блеск неба, прикрытый над его головой плотными огромными листьями, дразнил пышным голубым царством. Спина Энниока некоторое время еще стояла перед глазами в своем последнем движении; потом, уступив место разговору с Кармен, исчезла. «Кармен, я люблю тебя, – сказал Гнор, – мне хочется поцеловать тебя в губы. Слышишь ли ты оттуда?»

Притягательный образ вдруг выяснился его напряженному чувству, почти воплотился. Это была маленькая, смуглая, прекрасная голова; растроганно улыбаясь, Гнор зажал ладонями ее щеки, любовно присмотрелся и отпустил. Детское нетерпение охватило его. Он высчитал приблизительно срок, разделявший их, и добросовестно сократил его на половину, затем еще

на четверть. Это жалкое утешение заставило его встать, – он чувствовал невозможность лежать далее в спокойной и удобной позе, пока не продумает своего положения до конца.

Влажный зной леса веял дремотой. Лиловые, пурпурные и голубые цветы качались в траве; слышалось меланхолическое гудение шмеля, запутавшегося в мшистых стеблях; птицы, перелетая глубину далеких просветов, раздражались криками, напоминающими негритянский оркестр. Волшебный свет, игра цветных теней и оцепенение зелени окружали Гнора; земля беззвучно дышала полной грудью – задумчивая земля пустынь, кротких и грозных, как любовный крик зверя. Слабый шум послышался в стороне; Гнор обернулся, прислушиваясь, почти уверенный в немедленном появлении незнакомца, жителя острова. Он старался представить его наружность. «Это должен быть очень замкнутый и высокомерный человек, ему терять нечего», – сказал Гнор.

Птицы смолкли; тишина как бы колебалась в раздумье; это была собственная нерешительность Гнора; подождав и не выдержав, он закричал:

– Энниок, я жду вас на том же месте!

Безответный лес выслушал эти слова и ничего не прибавил к ним. Прогулка пока еще ничего не дала Гнору, кроме утомительного и бесплодного напряжения. Он постоял некоторое время, думая, что Энниок забыл направление, потом медленно тронулся назад, к берегу. Необъяснимое сильное беспокойство гнало его прочь из леса. Он шел быстро, стараясь понять, куда исчез Энниок: наконец самое простое объяснение удовлетворило его: неизвестный и Энниок увлеклись разговором.

– Я привяжу лодку, – сказал Гнор, вспомнив, что она еле вытащена на песок. – Они придут.

Вода, пронизанная блеском мокрых песчаных отмелей, сверкнула перед ним сквозь опушку, но лодки не было. Ящик лежал на старом месте. Гнор подошел к воде и влево, где пестрый отвес скалы разделял берег, увидел лодку.

Энниок греб, сильно кидая весла; он смотрел вниз и, по-видимому, не замечал Гнора.

– Энниок! – сказал Гнор; голос его отчетливо прозвучал в тишине прозрачного воздуха. – Куда вы?! Разве вы не слышали, как я звал вас?!

Энниок резко ударил веслами, не поднял головы и продолжал плыть. Он двигался, казалось, теперь быстрее, чем минуту назад; расстояние между скалой и лодкой становилось заметно меньше. «Камень скроет его, – подумал Гнор, – и тогда он не услышит совсем».

– Энниок! – снова закричал Гнор. – Что вы хотите делать?

Плывущий поднял голову, смотря прямо в лицо Гнору так, как будто на берегу никого не было. Еще продолжалось неловкое и странное молчание, как вдруг, случайно, на искристом красноватом песке Гнор прочел фразу, выведенную дулом ружья или куском палки: «Гнор, вы здесь останетесь. Вспомните музыку, Кармен и бильярд на рассвете».

Первое, что ощутил Гнор, была тупая боль сердца, позыв рассмеяться и гнев. Воспоминания против воли головокружительно быстро швырнули его назад, в прошлое; легион мелочей, в свое время ничтожных или отрывочных, блеснул в памяти, окреп, рассыпался и занял свои места в цикле ушедших дней с уверенностью солдат во время тревоги, бросающихся к своим местам, услышав рожок горниста. Голая, кивающая убедительность смотрела в лицо Гнору. «Энниок, Кармен, я, – схватил на лету Гнор. – Я не видел, был слеп, так...»

Он медленно отошел от написанного, как будто перед ним открылся провал. Гнор стоял у самой воды, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть Эиниока; он верил и не верил; верить казалось ему безумием. Голова его выдержала ряд звонких ударов страха и наполнилась шумом; ликующий океан стал мерзким и отвратительным.

– Энниок! – сказал Гнор твердым и ясным голосом – последнее усилие отравленной воли. – Это писали вы?

Несколько секунд длилось молчание. «Да», – бросил ветер. Слово это было произнесено именно тем тоном, которого ждал Гнор, – циническим. Он стиснул руки, пытаясь удержать нервную дрожь пальцев; небо быстро темнело; океан, разубранный на горизонте облачной ряской, закружился, качаясь в налетевшем тумане. Гнор вошел в воду, он двигался бессознательно. Волна покрыла колени, бедра, опоясала грудь, Гнор остановился. Он был теперь ближе к лодке шагов на пять; разоренное, взорванное сознание его конвульсивно стряхивало тяжесть мгновения и слабело, как приговоренный, отталкивающий веревку.

– Это подлость. – Он смотрел широко раскрытыми глазами и не шевелился. Вода медленно колыхалась вокруг него, кружа голову и легонько подталкивая. – Энниок, вы сделали подлость, вернитесь!

– Нет, – сказал Энниок. Слово это прозвучало обыденно, как ответ лавочника.

Гнор поднял револьвер и тщательно определил прицел. Выстрел не помешал Энниоку; он греб, быстро откидываясь назад; вторая пуля пробилла весло; Энниок выпустил его, поймал и нагнулся, ожидая новых пуль. В этом движении проскользнула снисходительная покорность взрослого, позволяющего ребенку бить себя безвредными маленькими руками.

Третий раз над водой щелкнул курок; непобедимая слабость апатии охватила Гнора; как парализованный, он опустил руку, продолжая смотреть. Лодка ползла за камнем, некоторое время еще виднелась уползающая корма, потом все исчезло.

Гнор вышел на берег.

– Кармен, – сказал Гнор, – он тоже любит тебя? Я не сойду с ума, у меня есть женщина с золотой кожей... Ее имя Кармен. Вы, Энниок, ошиблись!

Он помолчал, сосредоточился на том, что ожидало его, и продолжал говорить сам с собой, возражая жестоким голосам сердца, толкающим к отчаянию: «Меня снимут отсюда. Рано или поздно придет корабль. Это будет на днях. Через месяц. Через два месяца. – Он торговался с судьбой. – Я сам сделаю лодку. Я не умру здесь. Кармен, видишь ли ты меня? Я протягиваю тебе руки, коснись их своими, мне страшно».

Боль уступила место негодованию. Стиснув зубы, он думал об Энниоке. Гневное исступление терзало его. «Бесстыдная лиса, гадина, – сказал Гнор, – еще будет время посмотреть друг другу в лицо». Затем совершившееся показалось ему сном, бредом, нелепостью. Под ногами хрустел песок, песок настоящий. «Любое парусное судно может зайти сюда. Это будет на днях. Завтра. Через много лет. Никогда».

Слово это поразило его убийственной точностью своего значения. Гнор упал на песок лицом вниз и разразился гневными огненными слезами, тяжкими слезами мужчины. Прибой усилился; ленивый раскат волны сказал громким шепотом: «Отшельник Аша».

«Аша», – повторил, вскипая, песок.

Человек не шевелился. Солнце, тяготея к западу, коснулось скалы, забрызгало ее темную грань жидким огнем и бросило на побережье Аша тени – вечернюю грусть земли. Гнор встал.

– Энниок, – сказал он обыкновенным своим негромким, грудным голосом, – я уступаю времени и необходимости. Моя жизнь не доиграна. Это старая, хорошая игра; ее не годится бросать с середины, и дни не карты; над трупами их, погибающих здесь, бесценных моих дней, клянусь вам затянуть разорванные концы так крепко, что от усилия занеет рука, и в узле этом захрипит ваша шея. Подымается ветер. Он донесет мою клятву вам и Кармен!

IV

Сильная буря, разразившаяся в центре Архипелага, дала хорошую встрепку трехмачтовому бригу, носившему неожиданное, мало подходящее к суровой профессии кораблей, имя – «Морской Кузнечик». Бриг этот, с оборванными снастями, раненный в паруса, стеньги и ватерлинию, забросило далеко в сторону от обычного торгового пути. На рассвете показалась земля. Единственный уцелевший якорь с грохотом полетел на дно. День прошел в обычных после аварий работах, и только вечером все, начиная с капитана и кончая поваром, могли дать себе некоторый отчет в своем положении. Лаконический отчет этот вполне выразался тремя словами: «Черт знает что!»

– Роз, – сказал капитан, испытывая неподдельное страдание, – это корабельный журнал, и в нем не место различным выкрутасам. Зачем вы, пустая бутылка, нарисовали этот скворешник?

– Скворешник! – Замечание смутило Роза, но оскорбленное самолюбие тотчас же угодило смущение хорошим пинком. – Где видали вы такие скворешники? Это барышня. Я ее зачеркну.

Капитан Мард совершенно закрыл левый глаз, отчего правый стал невыносимо презрительным. Роз стукнул кулаком по столу, но смирился.

– Я ее зачеркнул, сделав кляксу; понюхайте, если не видите. Журнал подмок.

– Это верно, – сказал Мард, щупая влажные прошнурованные листы. – Волна хлестала в каюту. Я тоже подмок. Я и ахтерштевень – мы вымокли одинаково. А вы, Аллигу?

Третий из этой группы, почти падавший от изнурения на стол, за которым сидел, сказал:

– Я хочу спать.

В каюте висел фонарь, озарявший три головы тенями и светом старинных портретов. Углы помещения, заваленные сдвинутыми в одну кучу складными стульями, одеждой и инструментами, напоминали подвал старьевщика. Бриг покачивало; раздражение океана не утихает сразу. Упустив жертву, он фыркает и морщится. Мард облокотился на стол, склонив к чистой странице журнала свое лошадиное лицо, блестящее умными хмурыми глазами. У него почти не было усов, а подбородок напоминал каменную глыбу в миниатюре. Правая рука Марда, распухшая от ушиба, висела на полотенце.

Роз стал водить пером в воздухе, выделявая зигзаги и арабески; он ждал.

– Ну, пишите, – сказал Мард, – пишите: заброшены к дьяволу, неизвестно зачем; пишите так... – Он стал тяжело дышать, каждое усилие мысли страшно стесняло его. – Пойдите. Я не могу опомниться, Аллигу, меня все еще как будто бросает о площадку, а надо мною Роз тщетно пытается удержать штурвал. Я этой скверной воды не люблю.

– Был шторм, – сказал Аллигу, проснувшись, и снова впал в сонное состояние. – Был шторм.

– Свежий ветер, – методично поправил Роз. – Свежий... Сущие пустыки.

– Ураган.

– Простая шалость атмосферы.

– Водо- и воздухотрясение.

– Пустышный бриз.

– Бриз? – Аллигу удостоил проснуться и, засыпая, снова сказал: – Если это был, как вы говорите, простой бриз, то я более не Аллигу.

Мард сделал попытку жестикулировать ушибленной правой рукой, но побагровел от боли и рассердился.

– Океан кашлял, – сказал он, – и выплюнул нас... Куда? Где мы? И что такое теперь мы?

– Солнце село, – сообщил вошедший в каюту боцман. – Завтра утром узнаем все. Поднялся густой туман; ветер слабее.

Роз положил перо.

– Писать так писать, – сказал он, – а то я закрою журнал.

Аллигу проснулся в тридцать второй раз.

– Вы, – зевнул он с той сладострастной грацией, от которой трещит стул, – забыли о бесштаннике кочегаре на Стальном Рейде. Что стоило провезти беднягу? Он так мило просил. Есть лишние койки и сухари? Вы ему отказали, Мард, он послал вас к черту вслух – к черту вы и приехали. Не стоит жаловаться.

Мард налился кровью.

– Пусть возьмат пассажиров тонконогие франты с батистовыми платочками; пока я на «Морском Кузнечике» капитан, у меня этого балласта не будет. Я парусный грузовик.

– Будет, – сказал Аллигу.

– Не раздражайте меня.

– Подержим пари от скуки.

– Какой срок?

– Год.

– Ладно. Сколько вы ставите?

– Двадцать.

– Мало. Хотите пятьдесят?

– Все равно, – сказал Аллигу, – денюжки мои, вам не везет на легкий заработок. Я сплю.

– Хотят, – проговорил Мард, – чтобы я срезался на пассажире. Вздор!

С палубы долетел топот, взрыв смеха; океан вторил ему заунывным гулом. Крики усилились: отдельные слова проникли в каюту, но невозможно было понять, что случилось. Мард вопросительно посмотрел на боцмана.

– Чего они? – спросил капитан. – Что за веселье?

– Я посмотрю.

Боцман вышел. Роз прислушался и сказал:

– Вернулись матросы с берега.

Мард подошел к двери, нетерпеливо толкнул ее и удержал взмытую ветром шляпу. Темный силуэт корабля гудел взволнованными, тревожными голосами; в центре толпы матросов, на шканцах блестел свет; в свете чернели плечи и головы. Мард растолкал людей.

– По какому случаю бал? – сказал Мард. Фонарь стоял у его ног, свет ложился на палубу. Все молчали.

Тогда, посмотрев прямо перед собой, капитан увидел лицо незнакомого человека, смуглое вздрагивающее лицо с неподвижными искрящимися глазами. Шапки у него не было. Волосы темного цвета падали ниже плеч. Он был одет в сильно измятый костюм городского покроя и высокие сапоги. Взгляд неизвестного быстро переходил с лица на лицо; взгляд цепкий, как сильно хватающая рука.

Измученный Мард почесал левую щеку и шумно вздохнул; тревога всколыхнула его.

– Кто вы? – спросил Мард. – Откуда?

– Я – Гнор, – сказал неизвестный. – Меня привезли матросы. Я жил здесь.

– Как? – переспросил Мард, забыв о большой руке; он еле сдерживался, чтобы не разразиться криком на мучившее его загадочностью своей собрание. Лицо неизвестного заставляло капитана морщиться. Он ничего не понимал. – Что вы говорите?

– Я – Гнор, – сказал неизвестный. – Меня привезла ваша лодка... Я – Гнор...

Мард посмотрел на матросов. Многие улыбались напряженной, неловкой улыбкой людей, охваченных жгучим любопытством. Боцман стоял по левую руку Марда. Он был серьезен. Мард не привык к молчанию и не выносил загадок, но, против обыкновения, не вспыхивал:

тихий мрак, полный грусти и крупных звезд, остановил его вспышку странной властью, осязательной, как резкое приказание.

– Я лопну, – сказал Мард, – если не узнаю сейчас, в чем дело. Говорите.

Толпа зашевелилась; из нее выступил пожилой матрос.

– Он, – начал матрос, – стрелял два раза в меня и раз в Кента. Мы его не задели. Он шел навстречу. Четверо из нас таскали дрова. Было еще светло, когда он попался. Кент, увидев его, сначала испугался, потом крикнул меня; мы пошли вместе. Он выступил из каменной щели против воды. Одежда его была совсем другая, чем сейчас. Я еще не видал таких лохмотьев. Шерсть на нем торчала из шкур, как трава на гнилой крыше.

– Это небольшой остров, – сказал Гнор. – Я давно живу здесь. Восемь лет. Мне говорить трудно. Я очень много и давно молчу. Отвык.

Он тщательно разделял слова, редко давая им нужное выражение, а по временам делая паузы, в продолжение которых губы его не переставали двигаться.

Матрос испуганно посмотрел на Гнора и повернулся к Марду.

– Он выстрелил из револьвера, потом закрылся рукой, закричал и выстрелил еще раз. Меня стукнуло по голове, я повалился, думая, что он перестанет. Кент бежал на него, но, услышав третий выстрел, отскочил в сторону. Больше он не стрелял. Я сшиб его с ног. Он, казалось, был рад этому, потому что не обижался. Мы потащили его к шлюпке, он смеялся. Тут у нас, у самой воды, началось легкое объяснение. Я ничего не мог понять, когда Кент вразумил меня. «Он хочет, – сказал Кент, – чтобы мы ему дали переодеться». Я чуть не лопнул от смеха. Однако, не отпуская его ни на шаг, мы тронулись, куда он нас вел, – и что вы думаете?.. У него был, знаете ли, маленький гардероб в каменном ящике, вроде как у меня сундучок. Пока он натягивал свой наряд и перевязывал шишку на голове, – «слушай, – сказал мне Кент, – он из потерпевших крушение, – я слышал такие истории». Тогда этот человек взял меня за руку и поцеловал, а потом Кента. У меня было, признаться, погано на душе, так как я ударил его два раза, когда настиг...

– Зачем вы, – сказал Мард, – зачем вы стреляли в них? Объясните.

Гнор смотрел дальше строгого лица Марда – в тьму.

– Поймите, – произнес он особенным, заставившим многих вздрогнуть усилием голоса, – восемь лет. Я один. Солнце, песок, лес. Безмолвие. Раз вечером поднялся туман. Слушайте: я увидел лодку; она шла с моря; в ней было шесть человек. Шумит песок. Люди вышли на берег, зовут меня, смеются и машут руками. Я побежал, задыхаясь, не мог сказать слова, слов не было. Они стояли все на берегу... живые лица, как теперь вы. Они исчезли, когда я был от них ближе пяти шагов. Лодку унес туман. Туман рассеялся. Все по-старому. Солнце, песок, безмолвие. И море кругом.

Моряки сдвинулись тесно, некоторые встали на цыпочки, дыша в затылки передним. Иные оборачивались, как бы ища разделить впечатление с существом выше человека. Тишина достигла крайнего напряжения. Хриплый голос сказал:

– Молчите.

– Молчите, – подхватил другой. – Дайте ему сказать.

– Так было много раз, – продолжал Гнор. – Я кончил тем, что стал делать выстрелы. Звук выстрела уничтожал видение. После этого я обыкновенно целый день не мог есть. Сегодня я не поверил; как всегда, не больше. Трудно быть одному.

Мард погладил больную руку.

– Как вас зовут?

– Гнор.

– Сколько вам лет?

– Двадцать восемь.

– Кто вы?

– Сын инженера.

– Как попали сюда?

– Об этом, – неохотно сказал Гнор, – я расскажу одному вам.

Голоса их твердо и тяжело уходили в тьму моря: хмурый – одного, звонкий – другого; голоса разных людей.

– Вы чисто одеты, – продолжал Мард, – это для меня непонятно.

– Я хранил себя, – сказал Гнор, – для лучших времен.

– Вы также брились?

– Да.

– Чем вы питались?

– Чем случится.

– На что надеялись?

– На себя.

– И на нас также?

– Меньше, чем на себя. – Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все лица отразили его улыбку. – Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я не труп и не идиот.

Роз, стоявший позади Гнора, крепко хватил его по плечу и, вытащив из кармана платок, пронзительно высморкался; он был в восторге.

Иронический взгляд Аллигу остановился на Марде. Они смотрели друг другу в глаза, как авгуры, прекрасно понимающие, в чем дело. «Ты проиграл, кажись», – говорило лицо штурмана. «Оберну вокруг пальца», – ответил взгляд Марда.

– Идите сюда, – сказал капитан Гнору. – Идите за мной. Мы потолкуем внизу.

Они вышли из круга; множество глаз проводило высокий силуэт Гнора. Через минуту на палубе было три группы, беседующие вполголоса о тайнах моря, суевериях, душах умерших, пропавшей земле, огненном бриге из Калифорнии. Четырнадцать взрослых ребят, делая страшные глаза и таинственно кашляя, рассказывали друг другу о приметах пиратов, о странствиях проклятой бочки с водкой, рыбьем запахе сирен, подводном гроте, полном золотых слитков. Воображение их, получившее громовую встряску, несло кувырком. Недавно еще ждавшие неумолимой и верной смерти, они забыли об этом; своя опасность лежала в кругу будней, о ней не стоило говорить.

Свет забытого фонаря выдвигал из тьмы наглухо задраенный люк трюма, борта и нижнюю часть вант. Аллигу поднял фонарь; тени перескочили за борт.

– Это вы, Мард? – сказал Аллигу, приближая фонарь к лицу идущего. – Да, это вы, теле-нок не ошибается. А он?

– Все в порядке, – вызывающе ответил Мард. – Не стоит беспокоиться, Аллигу.

– Хорошо, но вы проиграли.

– А может быть, вы?

– Как, – возразил удивленный штурман, – вы оставите его доживать тут? А бунта вы не боитесь?

– И я не камень, – сказал Мард. – Он рассказал мне подлую штуку... Нет, я говорить об этом теперь не буду. Хотя...

– Ну, – Аллигу переминался от нетерпения. – Деньги на бочку!

– Отстаньте!

– Тогда позвольте поздравить вас с пассажиром.

– С пассажиром? – Мард подвинулся к фонарю, и Аллигу увидел злорадно торжествующее лицо. – Обольстительнейший и драгоценнейший Аллигу, вы ошиблись. Я нанял его на два месяца хранителем моих свадебных подсвечников, а жалованье уплатил вперед, в чем имею расписку; запомните это, свирепый Аллигу, и будьте здоровы.

– Ну, дока, – сказал, оторопев, штурман после неприятного долгого молчания. – Хорошо, вычтите из моего жалованья.

V

На подоконнике сидел человек. Он смотрел вниз с высоты третьего этажа, на вечернюю суету улицы. Дом, мостовая и человек дрожали от грохота экипажей.

Человек сидел долго, до тех пор, пока черные углы крыши не утонули в черноте ночи. Уличные огни внизу отбрасывали живые тени; тени прохожих догоняли друг друга, тень лошади перебирала ногами. Маленькие пятна экипажных фонарей беззвучно мчались по мостовой. Черная дыра переулка, полная фантастических силуэтов, желтая от огня окон, уличного свиста и шума, напоминала крысиную жизнь мусорной ямы, освещенной заржавленным фонарем тряпичника.

Человек прыгнул с подоконника, но скоро нашел новое занятие. Он стал закрывать и открывать электричество, стараясь попасть взглядом в заранее намеченную точку обоев; комната сверкала и пропадала, повинувшись щелканью выключателя. Человек сильно скучал.

Неизвестно, чем бы он занялся после этого, если бы до конца вечера остался один. С некоторых пор ему доставляло тихое удовольствие сидеть дома, проводя бесцельные дни, лишённые забот и развлечений, интересных мыслей и дел, смотреть в окно, перебирать старые письма, отделяя себя ими от настоящего; его никуда не тянуло, и ничего ему не хотелось; у него был хороший аппетит, крепкий сон; внутреннее состояние его напоминало в миниатюре зевок человека, утомленного китайской головоломкой и бросившего наконец это занятие.

Так утомляет жизнь, и так сказывается у многих усталость; душа и тело довольствуются пустяками, отвечая всему гримасой тусклого равнодушия. Энниок обдумал этот вопрос и нашел, что стареет. Но и это было для него безразлично.

В дверь постучали: сначала тихо, потом громче.

– Войдите, – сказал Энниок.

Человек, перешагнувший порог, остановился перед Энниоком, закрывая дверь рукой позади себя и слегка наклоняясь, в позе напряженного ожидания. Энниок пристально посмотрел на него и отступил в угол; забыть это лицо, мускулистое, с маленькими подбородком и ртом, было не в его силах.

Вошедший, стоя у двери, наполнял собой мир – и Энниок, пошатываясь от бьющего в голове набата, ясно увидел это лицо таким, каким было оно прежде, давно. Сердце его на один нестерпимый миг перестало биться; мертвея и теряясь, он молча тер руки. Гнор шумно вздохнул.

– Это вы, – глухо сказал он. – Вы, Энниок. Ну, вот мы и вместе. Я рад.

Два человека, стоя друг против друга, тоскливо бледнели, улыбаясь улыбкой стиснутых ртов.

– Вырвался! – крикнул Энниок. Это был болезненный вопль раненого. Он сильно ударил кулаком о стол, разбив руку; собрав всю силу воли, овладел, насколько это было возможно, заплывшими нервами и выпрямился. Он был вне себя.

– Это вы! – наслаждаясь, повторил Гнор. – Вот вы. От головы до пяток, во весь рост. Молчите. Я восемь лет ждал встречи. – Нервное взбешенное лицо его дергало судорога. – Вы ждали меня?

– Нет. – Энниок подошел к Гнору. – Вы знаете – это катастрофа. – Обуздав страх, он вдруг резко переменился и стал, как всегда. – Я лгу. Я очень рад видеть вас, Гнор.

Гнор засмеялся.

– Энниок, едва ли вы рады мне. Много, слишком много поднимается в душе чувств и мыслей... Если бы я мог все сразу обрушить на вашу голову! Довольно крика. Я стих.

Он помолчал; страшное спокойствие, похожее на неподвижность работающего парового котла, дало ему силы говорить дальше.

– Энниок, – сказал Гнор, – продолжим нашу игру.

– Я живу в гостинице. – Энниок пожал плечами в знак сожаления. – Неудобно мешать соседям. Выстрелы – мало– популярная музыка. Но мы, конечно, изобретем что-нибудь.

Гнор не ответил; опустив голову, он думал о том, что может не выйти живым отсюда. «Зато я буду до конца прав – и Кармен узнает об этом. Кусочек свинца осмыслит все мои восемь лет, как точка».

Энниок долго смотрел на него. Любопытство неистребимо.

– Как вы?.. – хотел спросить Энниок; Гнор перебил его:

– Не все ли равно? Я здесь. А вы – как вы зажали рты?

– Деньги, – коротко сказал Энниок.

– Вы страшны мне, – заговорил Гнор. – С виду я, может быть, теперь и спокоен, но мне душно и тесно с вами; воздух, которым вы дышите, мне противен. Вы мне больше, чем враг, – вы ужас мой. Можете смотреть на меня сколько угодно. Я не из тех, кто прощает.

– Зачем прощение? – сказал Энниок. – Я всегда готов заплатить. Слова теперь бессильны. Нас захватил ураган; кто не разобьет лоб, тот и прав.

Он закурил слегка дрожащими пальцами сигару и усиленно затянулся, жадно глотая дым.

– Бросим жребий.

Энниок кивнул головой, позвонил и сказал лакею:

– Дайте вино, сигары и карты.

Гнор сел у стола; тягостное оцепенение приковало его к стулу; он долго сидел, понурившись, сжав руки между колен, стараясь представить, как произойдет все; поднос звякнул у его локтя; Энниок отошел от окна.

– Мы сделаем все прилично, – не повышая голоса, сказал он. – Вино это старше вас, Гнор; вы томились в лесах, целовали Кармен, учились и родились, а оно уже лежало в погребе. – Он налил себе и Гнору, стараясь не расплескать. – Мы, Гнор, любим одну женщину. Она предпочла вас; а моя страсть поэтому выросла до чудовищных размеров. И это, может быть, мое оправдание. А вы бьете в точку.

– Энниок, – заговорил Гнор, – мне только теперь пришло в голову, что при других обстоятельствах мы, может быть, не были бы врагами. Но это так, к слову. Я требую справедливости. Слезы и кровь бросаются мне в голову при мысли о том, что перенес я. Но я перенес – слава богу, и ставлю жизнь против жизни. Мне снова есть чем рисковать, – не по вашей вине. У меня много седых волос, а ведь мне нет еще тридцати. Я вас искал упорно и долго, работая, как лошадь, чтобы достать денег, переезжая из города в город. Вы снились мне. Вы и Кармен.

Энниок сел против него, держа стакан в левой руке, он правой распечатал колоду.

– Черная ответит за все.

– Хорошо. – Гнор протянул руку. – Позвольте начать мне. А перед этим я выпью.

Взяв стакан и прихлебывая, он потянул карту. Энниок удержал его руку, сказав:

– Колода не тасована.

Он стал тасовать карты, долго мешал их, потом веером развернул на столе, крапом вверх.

– Если хотите, вы первый.

Гнор взял карту, не раздумывая, – первую попавшуюся под руку.

– Берите вы.

Энниок выбрал из середины, хотел взглянуть, но раздумал и посмотрел на партнера. Их глаза встретились. Рука каждого лежала на карте. Поднять ее было не так просто. Пальцы не повиновались Энниоку. Он сделал усилие, заставив их слушаться, и выбросил туза червей. Красное очко блеснуло, как молния, радостно – одному, мраком – другому.

– Шестерка бубей, – сказал Гнор, открывая свою. – Начнем снова.

– Это – как бы двойной выстрел. – Энниок взмахнул пальцами над колодой и, помедлив, взял крайнюю. – Вот та лежала с ней рядом, – заметил Гнор, – та и будет моя.

– Черви и бубны светятся в ваших глазах, – сказал Энниок, – пики – в моих. – Он успокоился, первая карта была страшнее, но чувствовал где-то внутри, что кончится это для него плохо. – Откройте сначала вы, мне хочется продлить удовольствие.

Гнор поднял руку, показал валета червей и бросил его на стол. Конвульсия сжала ему горло; но он сдержался, только глаза его блеснули странным и жутким весельем.

– Так и есть, – сказал Энниок, – карта моя тяжела; предчувствие, кажется, не обманет. Двойка пик.

Он разорвал ее на множество клочков, подбросил вверх – и белые струйки, исчертив воздух, осели на стол белыми неровными пятнами.

– Смерть двойке, – проговорил Энниок, – смерть и мне.

Гнор пристально посмотрел на него, встал и надел шляпу. В душе его не было жалости, но ощущение близкой чужой смерти заставило его пережить скверную минуту. Он укрепил себя воспоминаниями; бледные дни отчаяния, поднявшись из могилы Аша, грозным хороводом окружали Гнора; прав он.

– Энниок, – осторожно сказал Гнор, – я выиграл и удаляюсь. Отдайте долг судьбе без меня. Но есть у меня просьба: скажите, почему проснулись мы трое в один день, когда вы, по видимому, уже решили мою участь? Можете и не отвечать, я не настаиваю.

– Это цветок из Ванкувера, – не сразу ответил Энниок, беря третью сигару. – Я сделаю вам нечто вроде маленькой исповеди. Цветок был привезен мной; я не помню его названия; он невелик, зеленый, с коричневыми тычинками. Венчик распускается каждый день утром, свертываясь к одиннадцати. Накануне я сказал той, которую продолжаю любить: «Встаньте рано, я покажу вам каприз растительного мира». Вы знаете Кармен, Гнор; ей трудно отказать другому в маленьком удовольствии. Кроме того, это ведь действительно интересно. Утром она была сама как цветок; мы вышли на террасу; я нес в руках ящик с растением. Венчик, похожий на саранчу, медленно расправлял лепестки. Они выровнялись, напрялись – и цветок стал покачиваться от ветерка. Он был не совсем красив, но оригинален. Кармен смотрела и улыбалась. «Он дышит, – сказала она, – такой маленький». Тогда я взял ее за руку и сказал то, что долго меня терзало; я сказал ей о своей любви. Она покраснела, смотря на меня в упор и отрицательно качая головой. Ее лицо сказала мне больше, чем старое слово «нет», к которому меня совсем не приучили женщины. «Нет, – холодно сказала она, – это невозможно. Прощайте». Она стояла некоторое время задумавшись, потом ушла в сад. Я догнал ее больной от горя и продолжал говорить – не знаю что. «Опомнитесь», – сказала она. Вне себя от страсти я обнял ее и поцеловал. Она замерла; я прижал ее к сердцу и поцеловал в губы, но силы к ней тотчас вернулись, она закричала и вырвалась. Так было. Я мог только мстить – вам; я мстил. Будьте уверены, что, если бы вы споткнулись о черную масть, я не остановил бы вас.

– Я знаю это, – спокойно возразил Гнор. – Вдвоем нам не жить на свете. Прощайте.

Детское живет в человеке до седых волос – Энниок удержал Гнора взглядом и загородил дверь.

– Вы, – самолюбиво сказал он, – вы, гибкая человеческая сталь, должны помнить, что у вас был достойный противник.

– Верно, – сухо ответил Гнор, – пощечина и пожатие руки – этим я выразил бы всего вас. В силу известной причины я не делаю первого. Возьмите второе.

Они протянули руки, стиснув друг другу пальцы; это было странное, злое и задумчивое пожатие сильных врагов.

Последний взгляд их оборвала закрытая Гнором дверь; Энниок опустил голову.

– Я остаюсь с таким чувством, – прошептал он, – как будто был шумный, головокружительный, грозной красоты бал; он длился долго, и все устали. Гости разъехались, хозяин остался один; одна за другой гаснут свечи, грядет мрак.

Он подошел к столу, отыскал, расшвыряв карты, револьвер и почесал дулом висок. Прикосновение холодной стали к пылающей коже было почти приятным. Потом стал припоминать жизнь и удивился: все казалось в ней старообразным и глупым.

– Я мог бы обмануть его, – сказал Энниок, – но не привык бегать и прятаться. А это было бы неизбежно. К чему? Я взял от жизни все, что хотел, кроме одного. И на этом «одном» сломал шею. Нет, все вышло как-то совсем кстати и импозантно.

Глупая смерть, – продолжал Энниок, вертя барабан револьвера. – Скучно умирать *так* от выстрела. Я могу изобрести что-нибудь. Что – не знаю; надо пройтись.

Он быстро оделся, вышел и стал бродить по улицам. В туземных кварталах горели масляные фонари из красной и голубой бумаги; воняло горелым маслом, отбросами, жирной пылью. Липкий мрак наполнял переулки; стучали одинокие ручные тележки; фантастические контуры храмов теплились редкими огоньками. Мостовая, усеянная шелухой фруктов, соломой и клочками газет, окружала подножья уличных фонарей светлыми дисками; сновали прохожие; высокие, закутанные до переносья женщины шли медленной поступью; черные глаза их, подернутые влажным блеском, звали к истасканным циновкам, куче голых ребят и грязному петуху семьи, поглаживающему бороду за стаканом апельсиновой воды.

Энниок шел, привыкая к мысли о близкой смерти. За углом раздался меланхолический стон туземного барабана, пронзительный вой рожков: адская музыка сопровождала ночную религиозную процессию. Тотчас же из-за старого дома высыпала густая толпа; впереди, кривляясь и размахивая палками, сновали юродивые; туча мальчишек брела сбоку; на высоких резных палках качались маленькие фонари, изображения святых, скорченные темные идолы, напоминавшие свирепых младенцев в материнской утробе; полуосвещенное море голов теснилось вокруг них, вопя и рыдая; блестела тусклая позолота дерева; металлические хоругви, задевая друг друга, звенели и дребезжали.

Энниок остановился и усмехнулся: дерзкая мысль пришла ему в голову. Решив умереть шумно, он быстро отыскал глазами наиболее почтенного, увешанного погремушками старика. У старика было строгое, взволнованное и молитвенное лицо; Энниок рассмеялся; тяжкие перебои сердца на мгновение стеснили дыхание; затем, чувствуя, что рушится связь с жизнью и темная жуть кружит голову, он бросился в середину толпы.

Процессия остановилась: смуглые плечи толкали Энниока со всех сторон; смешанное горячее дыхание, запах пота и воска ошеломили его, он зашатался, но не упал, поднял руки и, потрясая вырванным у старика идиолом, крикнул изо всей силы:

– Плясунчики, голые обезьяны! Плюньте на своих деревяшек! Вы очень забавны, но надоели!

Свирепый рев возбудил его; в исступлении, уже не сознавая, что делает, он швырнул идола в первое, искаженное злобой, коричневое лицо; глиняный бог, встретив мостовую, разлетелся кусками. В то же время режущий удар по лицу свалил Энниока; взрыв ярости пронесся над ним; тело затрепетало и вытянулось.

Принимая последние, добивающие удары фанатиков, Энниок, охватив руками голову, залитую кровью, услышал явственный, идущий как бы издалека голос; голос этот повторил его собственные недавние слова:

– Бал кончился, разъехались гости, хозяин остается один. И мрак одевает залы.

VI

«Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек».

Подумав это, Гнор обратился к прошлому. Там была юность; нежные, озаряющие душу голоса ясной любви; заманчиво кружащая голову жуткость все полнее и радостнее звучащей жизни; темный ад горя, – восемь лет потрясения, исступленной жажды, слез и проклятий, чудовищный, безобразный жребий; проказа времени; гора, обрушенная на ребенка; солнце, песок, безмолвие. Дни и ночи молитв, обращенных к себе: «спасайся!»

Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще дыша часто и утомленно, но с отдыхающим телом и раскрепощенной душой. Прошлое лежало на западе, в стране светлых возгласов и уродливых теней; он долго смотрел туда, всему было одно имя – Кармен.

И, простив прошлому, уничтожая его, оставил он одно имя – Кармен.

В настоящем Гнор видел себя, сожженного безгласной любовью, страданием многих лет, окаменевшего в одном желании, более сильном, чем закон и радость. Он был одержим тоской, увеличивающей изо дня в день силы переносить ее. Это был юг жизни, ее знойный полдень; жаркие голубые тени, жажда и шум невидимого еще ключа. Всему было одно имя – Кармен. Только одно было у него в настоящем – имя, обвеянное волнением, боготворимое имя женщины с золотой кожей – Кармен.

Будущее – красный восток, утренний ветер, звезда, гаснущая над чудесным туманом, радостная бодрость зари, слезы и смех земли; будущему могло быть только одно-единственное имя – Кармен.

Гнор встал. Звонкая тяжесть секунд душила его. Время от времени полный огонь сознания ставил его на ноги во весь рост перед закрытой дверью не наступившего еще счастья; он припоминал, что находится здесь, в этом доме, где все знакомо и все в страшной близости с ним, а сам он чужой и будет чужой до тех пор, пока не выйдет из двери та, для которой он свой, родной, близкий, потерянный, жданный, любимый.

Так ли это? Острая волна мысли падала, уничтожаемая волнением, и Гнор мучился новым, ужасным, что отвергала его душа, как религиозный человек отвергает кощунство, навязчиво сверлящее мозг. Восемь лет легло между ними; своя, независимая от него текла жизнь Кармен – он уже видел ее, взявшую счастье с другим, вспоминающую о нем изредка в сонных грезах или, может быть, в минуты задумчивости, когда грустная неудовлетворенность жизнью перебивается мимолетным развлечением, смехом гостя, заботой дня, интересом минуты. Комната, в которой сидел Гнор, напоминала ему лучшие его дни; низкая, под цвет сумерек мебель, бледные стены, задумчивое вечернее окно, полуспущенная портьера с нырнувшим под нее светом соседней залы – все жило так же, как он, – болезненно неподвижной жизнью, замирая от ожидания. Гнор просил только одного – чуда, чуда любви, встречи, убивающей горе, огненного удара – того, о чем бессильно умолкает язык, так как нет в мире радости больше и невыразимее, чем взволнованное лицо женщины. Он ждал ее кротко, как дитя; жадно, как истомленный любовник; грозно и молча, как восстанавливающий право. Секундой он переживал годы; мир, полный терпеливой любви, окружал его; больной от надежды, растерянный, улыбающийся, Гнор, стоя, ждал – и ожидание мертвило его.

Рука, откинувшая портьеру, сделала то, что было выше сил Гнора, он бросился вперед и остановился, отступил назад и стал нем; все последующее навеки поработило его память. Та же, та самая, что много лет назад играла ему первую половину старинной песенки, вошла в комнату. Ее лицо выделилось и удесятерилось Гнору; он взял ее за плечи, не помня себя, забыв, что сказал; звук собственного голоса казался ему диким и слабым, и с криком, с невыразимым отчаянием счастья, берущего глухо и слепо первую, еще тягостную от рыданий ласку, он склонился к ногам Кармен, обнимая их ревнивым кольцом вздрагивающих измученных

рук. Сквозь шелк платья нежное тепло колен прильнуло к его щеке; он упивался им, крепче прижимал голову и, с мокрым от бешеных слез лицом, молчал, потерянный для всего.

Маленькие мягкие руки уперлись ему в голову, оттолкнули ее, схватили и обняли.

– Гнор, мой дорогой, мой мальчик, – услышал он после вечности блаженной тоски. – Ты ли это? Я ждала тебя, ждала долго-долго, и ты пришел.

– Молчи, – сказал Гнор, – дай умереть мне здесь, у твоих ног. Я не могу удержать слез, прости меня. Что было со мной? Сон? Нет, хуже. Я еще не хочу видеть твоего взгляда, Кармен; не подымай меня, мне хорошо так, я был твой всегда.

Тоненькая, высокая девушка нагнулась к целующему ее платью человеку. Мгновенно и чудесно изменилось ее лицо: прекрасное раньше, оно было теперь более чем прекрасным, – радостным, страстно живущим лицом женщины. Как дети, сели они на полу, не замечая этого, сжимая руки, глядя друг другу в лицо, и все, чем жили оба до встречи, стало для них пустым.

– Гнор, куда уходил ты, где твоя жизнь? Я не слышу, не чувствую ее... Ведь она моя, с первой до последней минуты... Что было с тобой?

Гнор поднял девушку высоко на руках, прижимая к себе, целуя в глаза и губы; тонкие сильные руки ее держали его голову, не отрываясь, притягивая к темным глазам.

– Кармен, – сказал Гнор, – настало время доиграть арию. Я шел к тебе долгим любящим усилием; возьми меня, лиши жизни, сделай, что хочешь, – я дожил свое. Смотри на меня, Кармен, смотри и запомни. Я не тот, ты та же; но выправится моя душа – и в первое же раннее утро не будет нашей разлуки. Ее покроет любовь. Не спрашивай; потом, когда схлынет это безумие – безумие твоих колен, твоего тела, тебя, твоих глаз и слов, первых слов за восемь лет, – я расскажу тебе сказку – и ты поплачешь. Не надо плакать теперь. Пусть все живут так. Вчера ты играла мне, а сегодня я видел сон, что мы никогда больше не встретимся. Я посидел от этого сна – значит, люблю. Это ты, ты!..

Их слезы смешались еще раз – завидные, редкие слезы – и тогда, медленно отстранив девушку, Гнор первый раз, улыбаясь, посмотрел в ее кинувшееся к нему, бледное от долгих призывов, тоскующее, родное лицо.

– Как мог я жить без тебя, – сказал Гнор, – теперь я не пойму этого.

– Я никогда не думала, что ты умер.

– Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя на шаг. – Он поцеловал ее ресницы; они были мокрые, милые и соленые. – Не спрашивай ни о чем, я еще не владею собой. Я забыл все, что хотел сказать тебе, идя сюда. Вот еще немного слез, это последние. Я счастлив... но не надо об этом думать. Простим жизни, Кармен; она – нищая перед нами. Дай мне обнять тебя. Вот так. И молчи.

Около того времени, но, стало быть, немного позже описанной нами сцены, по улице шел прохожий – гладко выбритый господин с живыми глазами; внимание его было привлечено звуками музыки. В глубине большого высокого дома неизвестный музыкант играл на рояле вторую половину арии, хорошо известной прохожему. Прохожий остановился, как останавливаются, придираясь к первому случаю, малозанятые люди, послушал немного и пошел далее, напевая вполголоса эту же песенку:

Забвенье – печальный, обманчивый звук,
Понятный лишь только в могиле;
Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук
Предать мы забвенью не в силе,
Что в душу запало – останется в ней:
Ни моря нет глубже, ни бездны темней.

1912 г.